

Вячеслав Карижинский

Музыка пустоты

1.

*Разложим комнату на части сонных числ
в пространстве бытия полузабытых планов,
и в глубине беспомощных обманов -
воображения архитектурный смысл.*

Надежда Жандр

Это моя тихая комната...

На двуспальной кровати разбросаны пёстрые канцелярские книги со старыми стихами. Тусклый свет люстры заливает уютным жёлтым цветом ночную тишину, и кажется, что на всей Земле нет ни времени, ни людей. Царит всеобъемлющий, непреходящий сон наяву, как некое чудо, ожившее немой вечности. В этом нулевом часу мироздания нет ни обид, ни сожалений. Ничуть не грустно оттого, что я, например, одинок и нелюбим – все невзгоды канули в вечность безмятежности, в короткий отрезок времени больничного покоя, дарованного мне до очередного дезертирства в болезнь, которую обычно называют серой жизнью. Что это, удивительное возвращение в детство, где каждый был бессмертен? Как сладко обманывать себя мыслями о том, что всё ещё впереди. Конечно, легко так думать, если у тебя под рукой вечность, и неважно, что она состоит из пустоты. Зато ждать можно бесконечно...

Старые институтские графоманские стишки, понятные только мне, написанные во время тихого ночного досуга, уносят меня в далёкое прошлое. И там я отчётливо вижу, как мой двойник, куда более успешный во всех своих начинаниях, проживает долгий, горький и прекрасный путь высоких страстей и разочарований. Он родился во времена Гомера и умер в фильме Тарковского, неся свечу к безымянному алтарю, теряясь в сером дыму бассейна. Позже он превратился в инфракрасную волну бестелесного существования и символической свечой-кометой отправился к Сальватерре, напевая на пути через бездну старинные песни на древних забытых языках, рисуя горящим хвостом руны на каждом изгибе маршрута, при встрече с каждым небесным телом...

А потом родился я – это случилось в каменном городе жестоких мифов, восточного, дышащего дантовским жаром солнца под низкие и дрожащие звуки торжественной музыки, вылетающей из деревянных воронок старинных духовых инструментов. Каждый камень моего города похож на кость кочевника, по узким улочкам бродят сутулые тени предков. Ветошь и глина хранят память о завоевателях и ханах, уводя заплутавшее время в лабиринт нестройных переулков, где соседствуют легенды и страшные тайны. Наибольшее из чудес моего города – вода, приносящая виноградным садам спасение в знойные дни и забирающая, словно плату, взгляды, мысли и голоса людей, успевших прикоснуться к журчащему потоку сухими, горячими ладонями.

Как хочется дождя! Телеканал заканчивает ночное вещание, появляется знакомая гипнотизирующая заставка на экране: в пустую бутылку, стоящую под водостоком, по капле набирается влага, но бутылка не наполняется никогда... Замечательная метафора, отражающая природу бесконечности и безвременья. Да ведь это же дом безумного оратора Доменико, чья ностальгия об утраченном пути человечества превратилась в горящий факел¹...

За кадром играет негромкая флейта, мотив которой уловить и запомнить невозможно, ибо он постоянно ускользает, уходя в тишину, потом появляется, доставая из ниоткуда незавершённые музыкальные фразы, и снова обрывается на полуслове. Экран медленно темнеет, а за окном нарастает звонкий гул первых капель дождя.

Боже, как я хочу, чтобы бессонница длилась вечно, а утро не наступало никогда – как я не хочу засыпать! Отгоняя навязчивую дрему, закуриваю сигарету и выхожу на пыльный балкон. Вспоминаю что-то из детства – что-то уже не сказочное, но ещё пропитанное неисповедимой древней тайной, огромностью мира и неведомой мне нынешнему диалектикой чувств. И я хочу написать о них тебе, дорогая.

Нет ещё в помине докучных вопросов о том, почему так много значимого в этих воспоминаниях, было ли всё это на самом деле или детская фантазия сама создала и раскрасила мир в угоду взрослой скуке, обманув мой невнимательный разум. Я ещё не понимаю, как я молод.

¹ Герой фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» (прим. автора).

2.

*В огромном городе моем - ночь.
Из дома сонного иду - прочь
И люди думают: жена, дочь,-
А я запомнила одно: ночь.*

*Июльский ветер мне метет - путь,
И где-то музыка в окне - чуть.
Ах, нынче ветру до зари - дуть
Сквозь стенки тонкие груди - в грудь.*

*Есть черный тополь, и в окне - свет,
И звон на башне, и в руке - цвет,
И шаг вот этот - никому - вслед,
И тень вот эта, а меня - нет.*

*Огни - как нити золотых бус,
Ночного листика во рту - вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам - снюсь.*

Марина Цветаева

Я не хочу нарушать молчание твоего сердца, и не стану тревожить немоту застывшего пространства, разделяющего нас и объявляющего недостижимость близости между нами единственным условием, благодаря которому любовь возможна. Чем холоднее стены в разрастающейся пустоте, тем ярче чёрная трава, плети вьюнов, оставшиеся в детстве, и тем

ощутимее аромат слов, которые мы не осмелились произнести в старой беседке так много лет назад. Пусть отражения разбитых зеркал займут наши места. Я обещаю беречь бесформенные осколки, оставшиеся навсегда в пыльном и бледном свете дня. Как это всё похоже на конец существования...

Любовь – это лишь череда коротких и ярких мгновений, быстро сменяющих друг друга и оставляющих на сердце усталые следы – воспоминания, которые мы с высоты разочарований называем опытом и которыми порой гордимся. Это сценарий, написанный изначально для нас, но отданный другим актёрам; сюжет, внезапно изменённый автором. Это судьба немых деревьев и ветра, который не видит, чьи волосы он легонько колышет во время своей утренней пробежки по парку. Судьба воды, которая не знает, куда несёт её река или ручей. Это подарок, что достаётся лишь раз – и ты не сможешь его сберечь, как ни старайся. Это маятник печали, который стремится к равновесию, не понимая, что равновесие – смерть.

Кто-то новый увлечёт тебя, уведёт с собой в неведомые города, и почтовые голуби, разносящие наши редкие письма, заблудятся и потеряются среди железобетонных скал и каркасов высотных домов. Подъезжая вечером к дому на автобусе, я всегда с удивлением и невыразимым щемящим чувством наблюдаю, как закат накрывает серые дома – что-то погибельное есть в малиновом свете, являющем резкий контраст между кровавой огненностью и бескровными пыльными ящиками, куда помещены наши судьбы. За окнами до срока чернеет ночь, и в этом незамысловатом пейзаже мне видится метафора человеческой жизни.

Когда-нибудь ты осознаешь самую большую беду – потерю себя. Долго будут отвлекать твоё внимание бесконечные празднества, нескончаемые гости, яства, нездоровый смех и кажущаяся лёгкость бесед, навеянная алкоголем и суетой. Но однажды ты прозреешь и обнаружишь, как быстро и преждевременно постарел твой избранник, как оскудела его речь, и обнищали чувства. Тебе станет страшно от мысли, что ты давно привыкла к этому, равно, как и ко всем пришлым людям, заполняющим пустую ячейку квартиры. За окнами вечный закат, который ты видишь даже днём, как навязчивое, терзающее душу напоминание о том, что не сбылось...

Не спрашивай, что со мной. Я в состоянии удивительного покоя. Так могут отдыхать только дети. Мне хорошо в этой уютной пустоте, распаивающей книги, будоражащей воображение.

Вчера я работал со словарём, искал английские архаизмы и выписывал их в специальную тетрадку. Вдруг попалось на глаза редкое слово, означающее «скелет насекомого». И тут сразу закончились поиски – благодаря этому слову заиграла в комнате музыка и на стенах появились, точно слайды, рисунки окаменелых останков древних существ, ящеры и богомолы, замурованные в янтаре; а из воздуха возникло дыхание доисторических ветров...

Я стал понимать классику. Однако читаю по большей части Сартра и нередко ловлю себя на мысли о том, что мне не столько хочется осмыслить текст, сколько погрузиться в него, как в болезнь или тяжёлый сон. Нарисованное на обложке книги сломанное дерево погружает в гипноз. Помню, дорогая, ты метко заметила однажды, что меня трогают до глубины души сюжеты и образы, связанные с разрушением или запустением, но вовсе не эклоги или пасторали. До сих пор удивляюсь твоей прозорливости – ты знала меня лучше, чем я сам...

А ещё недавно в одном журнале попалась странная картинка. На чёрном фоне справа была изображена аудитория, выписанная белым цветом – лица и фигуры все однотипные и, как мне показалось, прорисованные небрежно, без старания. Слева же – в профиль человек, сидящий на высоком стуле. Однако, трудно сказать, была ли это карикатура на горбатого человека, или некое антропоморфное существо, в котором удивительно сочетались простые геометрические фигуры, поза готовящегося к нападению зверя и пластика тела, присущая человеку. Горизонтальный овал его головы вместил в себя две несочетающиеся вещи: ясные, полные интереса и симпатии глаза, смотрящие на аудиторию, и кривой оскал, в котором чувствовалась не то саркастическая ухмылка, не то злоба и нестерпимая боль. Это была совершенно безумная картина! Как жаль, что до того, как журнал пришлось вернуть, я не запомнил имени художника, только название – «Критика».

Я знаю, однажды ты захочешь написать мне ответное письмо, но остановишь себя через минуту-другую. Не потому, что мой адрес тебе неизвестен, и вовсе не оттого, что тебе нечего ответить, а лишь потому, что мой диалог с самим собой слишком очевиден. Возможно, поначалу ты захотела бы обрушить на меня гневные упреки в бесплодной мечтательности и ребяческом легкомыслии, неподобающем возрасту. Но ты просто пробежишь по строчкам с лёгким чувством умиления и сожаления, отложишь письмо в ящик стола, закуришь и медленно подойдёшь к незанавешенному окну, за которым закат. И тогда твой взгляд станет злым, в глазах погаснет блеск едва наворачнувшихся слёз. Назревающая ночь загудит редкими машинами на дороге, окутав её коричневыми клубами дыма, озвучит точное время бездействия боем городских курантов, зашелестит кипящей водой в чайнике, и совсем скоро в твоей комнате запахнет горьковатым кофе и оставленной на столе вечерней газетой.

3.

*Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё, особенно – возглас счастья.
Только в уборную - и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более - изувеченным?*

Иосиф Бродский

Как необычен был вчерашний вечер! Нечто тревожное изначально чувствовалось в нём, быть может, оттого, что я выбрался, наконец, из домашней тюрьмы и отважился пойти на «Детские сцены» Шумана.

Первым, что бросилось в глаза, когда я зашёл в концертный зал, было весьма странное сооружение на галёрке в виде будки, похожей на примерочную в магазине. Стенами этого сооружения служили занавески из грубой материи чёрного цвета. Находясь в зрительном зале, невозможно было увидеть, кто входит туда, но подумалось, что за возможность сидеть в этой причудливой бутафории некто, должно быть, заплатил приличную сумму.

Играли элитарно, красиво и совершенно бестолково! Никакого драматизма, никакой динамики! Казалось, божественные зеваки, рассеявшиеся по местам, засыпали на ходу под плавные переливы выхолощенной мелодии – то и дело слышались медленные, глубокие, выражающие не то усталость, не то скуку вздохи людей на соседних креслах. Но ещё сверху доносились частые, едва слышные всхлипы. И я был уверен – это плачет человек, спрятавшийся за чёрными шторами. Возможно, выпитое накануне сеанса вино ударило в голову, но я решился – да что там, поклялся разыскать того странного человека.

Едва зашелестели аплодисменты, я соскочил с места и, поглядывая на загадочную кабину, направился к выходу, стараясь опередить всех. Вскоре нерасторопная толпа следом за мной потянулась к выходу, сползая с лестницы в фойе; десятка два усталых, ничего не выражающих лиц уже вышло в уличный сумрак. А тот самый человек, опустивший глаза, ставший ничем не выдать себя, одним из последних появился на ступеньках...

Я долго шёл за ним следом по сырым улочкам, залитым ярко-жёлтым фонарным светом; видел, как замедляется лёгкий шаг пожилого мужчины в коричневой шляпе и как быстро заканчивается город, превращаясь в сумрачное кладбище деревянных коттеджей старой постройки. Ещё немного, и незнакомец исчез бы в дверном проёме, но в каком-то безумном порыве я схватил старика за плечи, подкравшись сзади, и отрезал: «Я иду с тобой!» Старик замер на несколько секунд, а затем, не издав ни звука, плавным движением руки отворил скрипучую входную дверь, прошёл вперёд и зажёл свет.

В центре большой комнаты стоял рояль. И, несмотря на убогую обстановку, в помещении чувствовался некий уют и дух старины. Наверное, потому, что было много старой мебели. Сняв пальто и шляпу, мой визави неторопливо достал гранёный стакан, налил в него водки до края, выпил, присел за рояль и впервые совершенно невозмутимо взглянул на меня слегка прищуренными глазами. Я в свою очередь присел в кресло в углу комнаты,

- У меня всегда выступают слёзы, даже если они играют плохо, ибо я ещё не научился слышать, - заговорил старик, - и не хочу, чтобы люди видели меня во время концерта. Ах, чему я их учил столько лет? Я не оставил себе права на любовь, комфорт и сытость, но оставил право слышать мир, чувствовать его, сопереживать ему. «Детские сцены» я помню наизусть и уверен, что ты был бы рад услышать достойное исполнение.

- Пусть - ответил я глухим, осипшим голосом, - пусть будет только музыка...

Мне казалось, что мы не только читали мысли друг друга, но каким-то непостижимым образом заранее знали об этой необычной встрече. В полумраке комнаты до самого утра клавиши плакали под руками пианиста. Не прозвучало ни одной фальшивой ноты, не было ни одного сбоя... Я допил оставленную на столе водку, когда синеватый утренний свет прокрался в дом через пыльные стёкла окон. Домашний концерт закончился, но нельзя было благодарить музыканта, подобный жест перечеркнул бы всё. Лучшее, что можно было придумать – это выскочить на улицу и пуститься бежать прочь. По дороге, я, пьяный, что-то выкрикивал прохожим, громко смеясь и ругаясь, пока чей-то быстрый и точный удар по голове не лишил меня сознания.

Очнулся я на обочине узенькой улочки; было пасмурно и по-весеннему прохладно. Медленно побрёл к ближайшей лавке, чтобы купить напиток покрепче. Каменный город был хмур, как и я, а вечер наступил почти внезапно.

Уходит время поэтов... Этих ясновидящих юродивых, отдающихся чувственной стихии, уносят скорые, шумные волны наступающей демонической эпохи равнодушия,

господствующих шаблонов и узкоколейного мышления. Нерукотворные памятники переплавляются в золотых тельцов, тайны срывают вуали со своих лиц, обнажая злые образы клоаки, логику вытесняет беспорядочное фантазирование, и вместо тонких штрихов, выводимых с трепетом и старанием, на полотна слетают лишь брызги от кисти, которой во все стороны размахивает самонадеянный бездарь. То, что было палитрой, теперь зовётся картиной, а что ещё вчера было картиной, сегодня сдаётся в утиль, как старый и никому не нужный хлам. Религия и обрядность взяли монополию на веру. Подлинную и сложную красоту вытесняет легкодоступная красота, словно дешёвая, напичканная глутаматом еда, на которую набрасываешься и съедаешь быстро, почти не пережёвывая. Ешь и не насыщаешься. Искусственно возбуждаемый голод стал выгодной заменой глубокого внутреннего желания, вместо требования – разменная медь потребностей. Мазохистская радость от никогда не наступающего насыщения духа и плоти теперь зовётся стимулом жизни. Всё, что ты можешь испытывать в этом ярком карнавале сияющей пустоты – лишь спазмы похоти, за которыми следует чудовищная усталость...

"Барышня, какие у тебя дорогие и красивые бусы, но шея твоя черна от грязи. Платье твоё - краше не найти, но невымытое тело твоё источает едкий запах пота. Зубы твои белы, как мрамор, но гнилью тянет из твоих уст"...

Несчастный музыкант, теперь тебя никто не будет слушать. Никто не восторгнется, уловив дрожащие обертоны твоих струн, не почувствует кожей тревожную каплю твоих клавиш. И это ещё не самая большая беда: скоро у тебя отберут скрипку и пианино, пюпитр и нотную тетрадь, чернила и бумагу. Их сожгут на краю торгового ряда в свете гламурных рекламных щитков и разноцветных витрин, от которых исходит холод и неутолимый голод. Вычурные позы будут называться танцами, а слюнявые идиоты с постоянно приоткрытыми, как у детей, ртами станут образцами красоты и законодателями мод... Воцаряется великий мастурбатор – век, оставляющий мне единственный выбор: сообразоваться с ним или сгореть вместе со вчерашними партитурами. Остались лишь мгновения до всеожжения и право последнего слова...

Я знал красоту, которая томилась в глазах угрюмым, тусклым огнём желания, звучала тихой мелодией Дебюсси в комнате, наполненной лунным светом, зажигалась в волосах цвета льна и оставалась на ладонях серебристой прохладной росой, когда я протягивал руки из окна и погружал их в гущу сонных утренних листьев благоухающей за окном яблони. Я слышал гулкий океанский шум не выраженного словами чувства, которое вздымалось волнами в твоей груди; ощущал приближение древней и могучей стихии, сжимая твои от волнения холодные и слегка влажные пальцы. Пение весеннего ветра, впитавшего медвяные и травяные благоухания лугов, слышалось мне в твоём порывистом дыхании. Страшная и прекрасная загадка заставляла тебя замирать в изумлении, когда ты опускала голову мне на плечо, а в это время за окнами гудела буря. Самыми сладкими были слёзы от одного только предчувствия счастья, от наивных деревенских встреч, от готовности оседлать грозные тучи и мчаться наперекор стихиям, как гипербореи. И осознание нескорой, но неизбежной утраты одухотворяло тебя, молодую и строгую, усиливая чувство любви и беспредельной нежности, которые, должны были пережить и нашу разлуку, и нас самих...

Всё было неподдельным: жизнь, смерть, сон, фантазия, сказка сказок... И когда мы сплетались в объятьях, словно два ветра, кружащих в небесном театре, сливались и сокрытые внутри нас неведомые нам мотивы жизни и смерти – раскрывались тайны провидения. И мы были неподвластны времени. Первобытной силы голод сближал наши уста, и две души познавали друг друга. Мы полностью насыщались и засыпали вместе спокойным, глубоким сном, потревожить который не могли даже боги. Мы превращались

в единый алхимический сплав, самый прочный из всех, название которому – родство. Мы просыпались поутру со свежими силами, которые даровала нам для грядущих постижений сама природа, и новые тайны уводили нас в иные, непознанные сюжеты...

"За расставаньем будет встреча" – эта мантра спасала нас в недобрые дни, когда верилось, что каждая разлука – навсегда.

Прошу же, смотри на меня, не отводя глаз, когда пожарник подождёт мою душу; напевай мне знакомые мелодии старины, мотивы юности, когда гул костра взвьётся над сахарными словесами рекламы; напои меня яблоневою росой, когда адский жар охватит моё сердце. Смотри на меня непрестанно – тогда и я смогу видеть тебя сквозь алые, змеящиеся языки пламени. И я сохранию в себе время – время поэтов, которое покидает нас...

4.

*Междугородние звонки!
Вы с Богом наперегонки -
Вокруг планеты - кто кого!
От крика лопнуло стекло,
Которое меж ним и мной!
Долой звонки! Звонки долой!
Мы будем молча говорить,
Глаза в глаза, что б сохранить
Больной от воплей шар земной,
Пусть он зашелестит травой,
И ветер закружит листвою
Над раненой моей землёй...
Мы будем молча говорить
О том, как детство не убить.*

Ника Турбина

В этом письме я хочу поделиться с тобой удивительной историей. То, что произошло вчера после полудня, на время вернуло к жизни мою измотанную душу. Ты, конечно, помнишь тропинку, которая спускается в низовье реки! Там, у склона холма, много мусора и, представь себе, до сих пор стоят руины старинного здания кафе – обломки стен, покрытых светло-голубым кафелем. Я сидел на берегу, курил, и вдруг за моей спиной появился мальчишка лет десяти-двенадцати. Здорово же он меня напугал: подкрался ко мне сзади, нагнулся к самому уху и, пытаюсь перекричать речной шум, объявил:

- Надо торопиться! Пошли скорее!

Я хотел было спросить, где его родители, но бравый малыш схватил меня за руку и потащил за собою. Мы пробежали немного вдоль берега, и вскоре оказались внутри одной из разорённых комнат кафе.

- Смотри, - мальчик указал рукой на старый телефонный аппарат, ржавый и побитый, - вот он нам и нужен!

- Так он же не работает, - ответил я, совершенно не понимая, в чём дело. Мне думалось, с кем-то из родных ребёнка случилась беда, и мы бежали на место происшествия, чтобы помочь...

Шум реки здесь уже был почти неслышен, и, присев на осколок стены, мальчик заговорил тихо.

- Мой папа очень любил смотреть телевизор. Он всегда записывал номера телефонов и адреса...

- Где твой папа? – перебил я, начиная серьёзно беспокоиться.

- Послушай меня, пожалуйста! – тихим, просящим голосом произнёс малыш, глядя мне в глаза.

Я присел рядом, выразив готовность слушать, и тревога стала понемногу отпускать меня. Ребёнок был удивительно спокоен и лишь немного грустен.

- Мой папа умер давно, когда я был совсем маленьким. Здесь недалеко есть кладбище, и я знаю, где его могила. Недавно я нашёл папину записную книжку, в которой остались телефоны и адреса. Мы должны позвонить по нескольким номерам. Он протянул мне старую, оправленную толстой, потемневшей от времени кожей тёмно-коричневую книжицу, из которой торчали три закладки.

- Нам нужен именно этот аппарат! Помнишь, в одном фильме в разрушенном здании, в комнате, где исполняются желания, вдруг зазвонил телефон. И этот тоже работает! Но никто не знает, и потому его ещё не утащили отсюда.

Признаться, мне захотелось побольше узнать о мальчике и о его семье и совсем не хотелось обрывать его на полуслове, останавливать бурную детскую фантазию, свидетелем которой мне выпала честь быть. И я с некоторым сожалением придвинул телефонный аппарат к себе, снял трубку и поднёс её к уху. Но вместо тишины я услышал долгий, немного скрипучий сигнал свободной линии. Право, не знаю, какая гримаса отпечаталась в тот момент у меня на лице, однако, мальчик впервые улыбнулся.

- Надо позвонить по трём номерам и спросить, помнят ли, знают ли они что-нибудь о папе? Быть может, у них есть его фотографии. Я не могу сам – мне не ответят, а мама наотрез отказывается...

Открыв первую страницу, с матерчатой зелёной закладкой, я увидел номер телефона и надпись: «Клуб пунктирных людей». По почерку было ясно, что писал взрослый человек, и возникла уверенность в том, что заведение с таким необычным названием существует на самом деле. Мальчик назвал мне полное имя отца, и я, с трудом вращая побитый и облепленный грязью циферблат, начал набирать номер. Ребёнок пристально смотрел на меня, словно пытаясь что-то прочесть по выражению лица, а в трубке прошёл сигнал вызова, и вскоре женщина на том конце провода ответила. Усталым и негромким голосом она подробно рассказала о том, что клуб давно распущен, картотека с данными о бывших участниках клуба утеряна, а нынешнее учреждение носит название Дома Культуры Слепых, и им заведует комитет по делам инвалидов. Мне даже не пришлось ничего объяснять ребёнку – он сам торопливым жестом наемкнул мне позвонить по следующему номеру.

В этот раз грубоватый мужской голос из трубки заявил, что помочь ничем не сможет, и объяснил, что ни передачи с названием «Империя голосов», ни самого телеканала, по которому она шла десять лет назад, уже не существует. Вторая попытка найти следы папы закончилась короткими гудками на линии.

А на третьей странице не было ни имени, ни какого-либо другого указания адресата, да и сам номер выглядел весьма странно: как мне показалось, он был слишком длинным. Мне стало любопытно проверить, можно ли с этого телефона дозвониться в другой город или другую страну, и меня не покидало чувство, что события, происходившие в тот момент, были просто фантастическими. Откуда этот забытый рабочий номер в кафе, которого давным-давно нет, откуда эти канувшие в небытие телепередачи и клубы с интригующими и совершенно непонятными названиями?

Мальчик снова поторопил меня.

- А кого же мне спросить? – осведомился я, ощутив в собственном голосе какие-то дрожащие ребяческие интонации.

- Разве это важно?! – ответил мальчик громким упрёком.

В этот момент я прочитал в его глазах и почувствовал то, что не смогу объяснить никак. И слов не хватит, и моё понимание, увы, ничтожно мало. Казалось, я был на пороге какой-то важной разгадки, невероятного открытия, и что-то опасное подуло холодком, когда приоткрылась незримая дверь таинства.

Я набрал номер и ждал. В трубке долго стояла полная тишина, а потом стали появляться самые разные звуки: от характерных помех на линии до щелчков автоматики на координатно-шаговых телефонных станциях и узлах. Перед глазами появлялись необычные картины мигающих лампочек и раскачивающихся на ветру проводов, по которым, как по небесным рельсам, неслись незримые составы – электрические экипажи голосов и сигналов всей земли. Невозможно было оторваться от слушания. Даже не потому, что не хотелось упускать последний шанс узнать что-то важное об отце ребёнка, а потому, что тишина, из которой вырывались случайные звуки, очаровывала и приковывала слух. Звучала музыка пустоты...

После нескольких минут ожидания в трубке стало тихо – мертвенно тихо. Так бывает, когда линия обесточена. Быстро пролистав записную книжку, я заметил, что кроме трёх телефонных номеров в ней не было больше ни одной записи. А страницы с закладками располагались далеко друг от друга. Можно было подумать, что владелец хотел упрятать записанные номера в сонме пустых страниц. На мальчике не было лица, а мне надо было что-то придумать.

- А ведь мы с тобой сегодня дозвонились до «никуда».

Какая идиотская реплика! Я сразу пожалел о ней, и стал думать, как же смягчить тоскливое чувство нашего проигрыша.

Поднявшись по тропинке вверх, мы отправились на кладбище проведать могилу отца странного мальчика, который снова взял меня за руку, даже крепче, чем в первый раз. И я вдруг почувствовал себя так, как, наверное, чувствуют себя отцы, и завёл разговор о том, какие интересные легенды порой приходится слышать от людей. Например, свидетельства некоторых сверхчувствительных особ, живущих возле заброшенных или ликвидированных станций метро, о том, как по ночам слышится стук несуществующих колёс, а иногда видится призрак вагона, скользящего по швам узкоколейки, выкорчеванной из асфальта. Вспомнилась также забавная история о том, как одна дама постоянно слышала разные голоса, а потом выяснилось, что рядом с её жилищем была мощная радиостанция, а звуки появились сразу после того, как женщине сделали вставной металлический зуб. Мне

хотелось немного развеселить ребёнка и внушить ему надежду на сказочную «дверь в стене», за которой каждого ожидает чудо встречи, утешение и мир без страданий и смерти. И было очень стыдно за это враньё – но что ещё я мог придумать?

- А почему этот холм такой маленький? – оборвал меня на полуслове тонкий детский голосок.

Мы подошли к неухоженной могилке, что стояла у самой обочины дороги, и присели. В этот раз я решил быть честным до конца и сказал, как есть:

- Здесь лежит мальчик, ему было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас. И холм – ему в рост. А может быть, это не мальчик, а девочка...

Памятника над могилой не было, и только на ржавой табличке едва виднелась истёртая временем и дождями неразборчивая надпись. Вскоре подул прохладный ветерок, зашептались между собой громадные кроны кладбищенских деревьев, и до нас донёсся лёгкий запах листвы и влажной земли. Мальчик смотрел на необычный холм, не отводя глаз, так, словно видел его насквозь, а потом совершенно неожиданно для меня объявил:

- Мне пора идти, - и встал со скамейки.

Недалеко от нас остановилась машина. Из неё вышла высокая, тощая, угловатая молодая женщина в помятом сером платье. У неё были ярко накрашены губы, а поза, которую она приняла, молча глядя на нас, выдавала какую-то ущербность и злобу.

- Постой, а как тебя зовут?

Вот ведь штука – я только в момент расставания догадался задать этот вопрос.

- Doppelgänger², - громко ответил мальчик на чистом немецком языке и бросился бежать к машине.

Громко хлопнула дверь, за ней – вторая; закричал мотор и железный корабль уплыл за горизонт. Мне долго ещё представлялось, как мальчик смотрит из окна машины назад, на темнеющие дали, стараясь лучше запомнить речку, разрушенное здание кафе, кладбище и меня...

Мне очень хотелось, чтобы так было. И ещё хотелось понять, что же на самом деле произошло в этот день...

² Двойник (нем.) (прим. автора).

5.

*На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеши в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башисточками.
Что деньги мне? Что мне почет и честь
В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов,
Не ждать благословенных парусов.*

Арсений Тарковский

Прости, что так долго не писал тебе. Я стал значительно старше, и кровь моя холоднее, чем прежде. Тихая комната теперь напоминает гостиничный номер с невымытыми стенами и высохшими, серо-жёлтыми от табачного дыма занавесками. Каждое лето у нас, в каменном городе, жарче предыдущего, и с каждым годом всё реже случаются дожди. Тянет к речной воде, к берегам, заросшим крапивой. Я бываю там иногда во время обеденного перерыва, когда вокруг нет людей.

Усаживаясь на ствол срубленного дерева на самой кромке берега, я начинаю долго и пристально смотреть на мелкие волны, в которых плывут с невероятной скоростью миллиарды солнечных искр, загорающихся и гаснущих в неумолимом холодном потоке. Если смотреть на них долго и не отрываясь, можно заметить признаки иного времени, замедляющегося и раскрывающего крошечные порталы в измерение света. Взгляд неторопливо пробирается в глубину «слоёного пирога Эйнштейна», и обнаруживает зеркальную начинку в микрокосмосе жидких солнц. Как бы мне хотелось показать их тебе...

Река обретает голос, из шелеста волн выходят слова и детский смех, и вскоре появляются людские лица, среди которых есть и лицо моего инфракрасного двойника... Но потом становится больно глазам, получившим за секунды гигантский поток образов. Больно до слёз, и тогда я прикладываю к лицу прохладные пальцы. Долго ещё в цветной пляске фосфенов, за закрытыми веками я вижу людей, таких родных и бесконечно далёких, слышу их нерождённые голоса – они не зывают ко мне, не просят ни о чём, не зовут и не винят... Они приносят большую муку, показывая мир, который мог бы существовать объективно и беспристрастно, естественно и представимо. Они являют мастерскую, дьявольскую имитацию безусловного счастья...

Бывает мало одной прогулки вдоль реки, и тогда оставшуюся часть дневного времени я провожу на берегу озера, расходуя запасы пива, и наблюдаю за почти неподвижной толщей тусклых июльских солнц, увязших в мутной, застоявшейся воде. Теперь уже неважно, ходят ли рядом люди, печёт ли голову азиатское солнце, словно ревную меня к собственным отражениям. Взгляд останавливается невысоко над искусственным Солярисом, прорастая в затхлость озёрных испарений. Но ближе к вечеру в горле начинает першить от сигарет, а пивной хмель медленно отступает, оставляя за собой сухость и кислотоватый привкус во рту.

Несбывшаяся жизнь... Я вижу её повсюду. Каждый предмет быта, каждое здание обрели для меня новый, невыразимый и притягательный смысл. И чем больше старины и запустения в них, тем ярче и выразительнее сюжеты непрожитых мною жизней. Гламурная столица скрывает под неоновыми блёстками и декоративными покрытиями стен

облупленную краску прошлой эпохи и спрессованную пыль исчезнувших прилавков. Я уже не замечаю нелепость броских рекламных щитков, как попало надетых на железобетонные вежи гастрономов, и аляпистую праздность изрисованных неуместными орнаментами крыш, возложенных вместо неба на плечи архитектурных анахронических Атлантов.

Мне видится один и тот же сон, где я бесцельно брожу по старому городу, теряюсь в переулках и гигантских залах несуществующих библиотек, понимая, что не время ускользает от меня, а я всё больше удаляюсь от мира, который существует всегда здесь и сейчас. Автобусы неожиданно меняют маршруты и увозят меня в конец города или в другие города; тоннель метро внезапно превращается в недостроенную высокую клетку из деревянных прутьев, а машинист объявляет остановку, прося пассажиров покинуть поезд.

Снова и снова в гнетущих и беспокойных снах я оказываюсь на знакомой с детства дороге. Она ведёт к домам моих старых друзей, что остались в прошлом. И я долго иду, усталый и разбитый, захожу к моим друзьям, но они с трудом узнают меня. И даже когда мы все вместе садимся за стол, изобилующий едой и выпивкой, я чувствую, что каждая следующая минута трапезы всё дальше отделяет меня от этой необычной компании. Выдумывая разные причины, я ухожу, продолжаю идти куда-то, встречаю случайных людей, таких же пьяных, как я, продолжаю пить или ссорюсь с ними, но в итоге снова оказываюсь на широкой и бесконечной дороге из ниоткуда в никуда.

А утром, вырываясь из замкнутого круга бессмысленных событий, раскрывая безумные глаза и медленно возвращаясь в реальный мир, я поначалу чувствую себя спасённым. Что бы ни происходило во сне, реальность всегда оказывается лучше и комфортнее, в ней всегда больше свободы и ярче проявляется необъяснимое ощущение самости, которое полностью теряется в абсурде навязанных сном ролей, декораций и сюжетов, от которых нельзя отказаться. И только к полудню, когда солнечные лучи падают на подоконник и стоящую на нём пыльную банку с засохшими фиалками, я чувствую лёгкое оцепенение и понимаю, что явь бывает очень похожей на сон.

Когда же наступил тот роковой момент обращения назад? Когда был сделан тот первый неверный шаг, повернувший время вспять и заставивший меня бежать в прошлое наперекор встречному движению листов календаря и горячему ветру, бросающему в лицо газетную мишуру и гром механической музыки?

Иногда по вечерам, охваченный тревогой, я распахиваю дверцы ниши, достаю и разбрасываю по полу обветшалые канцелярские книги с моими студенческими стихами, ищу ту самую запись, где спряталось нечто чрезвычайно важное; жадно впиваюсь глазами в выцветшие очертания букв, старательно выведенных авторучкой, но время больше не останавливается... С чувством тупой боли и разливающейся по всему телу слабости я понимаю – волшебство закончилось. Остались только померкшие следы эпистолярных ритуалов юности, красивых, но теперь совершенно бесполезных.

Выключенный телевизор смотрит на заросшую паутиной стену огромным, мёртвым матовым глазом электронно-лучевой трубки, по которой то и дело пробегают блики от фар уличных машин. Они совсем не похожи на солнечные искры в воде – и слава Богу...

6.

*Простор воды, фальшив и пресен,
Накрыл поёмные луга,
И море зацвело, и плесень
Окантовала берега.
Живой, зелёной, жирной пылью
Напитана вода цвела
И отдавала свежей гнилью –
А что она ещё могла?
И видели цветенье тины,
И плакали глаза мои:
«Что, Волга, что твои плотины,
Пруды гигантские твои?»
И было мне подобье гула
На потоплённом берегу,
Как будто: «Милый, я вдохнула,
А выдохнуть и не могу.
Не спорю с человеком гордым,
Трудов его не оскорблю,
Но преизбытком полумёртвым
Себя и Землю погублю.
В моей теперешней недоле
Я терпелива без конца,
Но зрелище моей неволи
Людские утомит сердца »*

Владимир Леонович

Кажется, что возврата нет, что его и не может быть. Я отравлен погибельным очарованием тишины и пустоты так сильно, что уже не вынесу дневного сияния и холодной свежести родниковой воды. Надо было заболеть и погибнуть, чтобы ощутить цвет и пластику жизни. Нужно было стать слепым и глухим камнем, чтобы научиться видеть во тьме слабые, опьянённые весной ростки пшеницы и слышать неровное дыхание неба. Чем ближе край пропасти, за которую мне предстоит шагнуть, тем тоньше и полнозвучнее чувство безусловной жалости ко всему живому. Нельзя прикоснуться к этому чувству, нельзя принимать его за спасение – оно может помочь кому угодно, только не тебе.

Дарящий должен быть беден и несчастен, просящий должен быть здоров и богат, и любящий должен быть отвергнут, иначе нет никакого смысла в их существовании. Станный мальчик не узнает ничего о своём отце, закат никогда не найдёт дорогу домой, и мы – люди – будем бесконечно отражать других в себе и себя в других, как зеркала, поставленные друг против друга. Ядовитая, мёртвая музыка тишины поможет природе построить храм для живых и наполнить его колокольным звоном. Зачем же отдавать питательную почву сорнякам? Зачем спасать тех, чья задача положить громадную плиту в фундамент гигантского здания будущего и чья участь быть погребённым под этой плитой?

Говорят, что страдание заставляет человека умнеть, делает его восприятие мира тоньше и гибче и, в целом, возвышает дух. Но я не понимаю одного: зачем непрестанно возвращать к жизни через муки и боль нежизнеспособную человеческую особь? Негодных животных природа отбраковывает быстро. Так, например, нерадивым щенкам волчица перегрызает горло. А человек? Если он уже на финишной прямой, если вот-вот закончится срок его бездарно прожитой жизни, то зачем ему трубки и катетеры, призывы и провокации, молитвы и проклятья?

Скрытая гармония и невыраженность – это трупы, становящиеся новым мирозданием, обиталищем и кормом для иных цивилизаций, произрастающих из тлена. Мы записываем шумы и волны, доносящиеся из окружающих нас иноязычных миров, но никогда не сумеем расшифровать их загадочные послания! В чём же разница между жизнью и смертью? Быть может, имеет смысл только чередование ролей в театре наших снов?

Не верится, что человек рождён для счастья, ибо мы чаще всего выбираем пути разрушения, бунтарства и личную свободу любой ценой. Не заложена ли смерть в сердца людей равно, как и жизнь? Невозможно идти двумя дорогами сразу, и кто-то должен не иметь о счастье ни малейшего представления, отрицать любовь и свято верить во всемогущество смерти. Верить истово и страстно до своего погибельного часа.

Нет смысла даже рот открывать. Всё уже не раз было сказано и тобой, и теми, кто был до тебя. Избитые слова и осточертевшие трюизмы, как раскалённый песок, скрипят на зубах, натирая дёсна и язык. Любая важная мысль, любой стих из детства звучат в моей голове гадкими голосами неумелых актёров-невидимок, вычурно изображающих важность и назидание в тоне. Они насмеются надо мной. Любой диалог становится навязчивой, дешёвой, пошлой и раздражающей пьеской. Конечно, осталось нечто великое и непраздное в застывших, классических сюжетах. Оно спрятано где-то далеко от людей нынешнего времени. На пыльных камнях скрижалей великое нечто оставило себе неприкосновенное право быть – право вечного. На том закончился мир дурманных садов перевозданной Земли, и адская пустыня распростёрлась во все края от нерушимых камней, и жизнь людей из поколения в поколение проходит в нескончаемом марше по песку.

Что в наши дни может быть свежее отрицания поиска новизны? Что может быть острее долгого и бездейственного наблюдения за обыденными вещами? Ведь если принимать простое и привычное, как есть, отказавшись от всевозможных ожиданий, можно остановить песочные часы маеты. И тогда, оставаясь взрослым, можно позволить себе детскую радость быть ведомым в мир замиранья. Сначала жизнь кажется замедленной съёмкой, а потом ты попадаешь в статический мир, где времени нет вовсе, и всякое движение теряет смысл.

Моя плоть давно истлела. В первых кадрах нового континуума мой серый остов присох к земле возле маленькой речушки, а из облепленных мхом глазниц проросли тонкие, плоские, голубовато-зелёные стебельки травы. Рядом со мной похожая на могильный холм маленькая насыпь – это муравейник, в котором спрятались лабиринты подземных путей. Неподвижна зеленоватая речка, от которой всегда тянет гнилью, а мраморное небо над головой пропускает через мутный фильтр облаков непреходящий бледный свет луны, застывшей в зените навсегда.

В чёрном космосе плывёт красный, воинственный гигант танцующего пламени, разбрасывая вокруг себя белые искры; букет костра догорает в ночи, осыпаясь бледной золой. Младенец выходит из темноты материнского чрева, и кровь с молоком обволакивают его. Я вижу, как из белой тишины выходят жизнь и смерть, красное и чёрное. И меня лихорадит...

Нельзя ставить точку. И счастливый, и трагический финал способны убить самую правдивую историю. Рассказ должен закончиться многоточием – знаком белой неопределённости, блаженной потерянности, безвестности, безмолвия и пустоты...

7.

*И только смерть не обманет,
царя над ложью земной.
Пусть яростней птица ранит -
последний удар за мной!*

*Лети же, над сердцем рея,
и падай! Придет черед -
и след мой желтое время
на старом снимке сотрет.*

Мигель Эрнандес

Я видел ужасный сон. Жалостью и болью полнится моё сердце. А за окном зияет чёрная, осенняя ночь. Погас камин, ветер ворвался в мой маленький мир и пробирает меня до кости. Пишу тебе, и становится немного теплее. Только рука дрожит...

Мне снилась тёмная, влажная утроба, в которой спал крохотный человечек, едва начавший обретать формы. Было тепло и спокойно, и большую часть времени малыш лежал в воде неподвижно, лишь изредка подёргивая ручками. Я думаю, ему там было гораздо лучше, чем мне в тихой комнате, где по ночам останавливалось время. Едва слышный, неясный шелест доносился снаружи, и это значило, что мир готовящегося к рождению дитя был защищён даже от посторонних звуков. Я наблюдал, и мне передавалось ощущение абсолютной гармонии.

Потом стало прохладнее, однако малыш, слегка поёжившись, продолжал спать. Во внешнем мире шёл дождь, догоняющий время, настигающий людей и животных. А внутри матери не было ни времени, ни осени...

И вдруг случилось сильное землетрясение. Безмятежный мир задрожал, раскачиваясь в разные стороны, и я сильно испугался. В утробе стало очень холодно, а малыш, проснувшись, открыл глаза. Никогда не забуду его взгляд, в котором не было ни удивления, ни страха, но чувствовалась спокойная уверенность в том, что мать защитит своё чадо от любого катаклизма на Земле, и течение жизни не нарушится. Холод нарастал, а я, глядя на малыша, замер в тревожном ожидании.

И совсем скоро я увидел истинный мир его глазами: пустую, ночную дорогу, грязные потоки дождя, стекающие в лужу и ржавый навес автобусной остановки. В мутноватом, полупрозрачном коконе вырванной с мясом утробы малыш лежал, как птенец в яйце, чувствуя, как холод безлюдья вливается в его неоформленное тельце невидимыми жалами и, как оболочка становится твёрдой скорлупой, медленно превращаясь в лёд. Горбатая карлица, бросившая жуткий кулёк с ребёнком в траву у самой обочины дороги, убежала прочь, а я оставался по другую сторону зеркального мира и не мог вмешаться в ход событий.

Милое гибнущее существо, не умевшее бояться и обижаться, терзаемое холодом, смотрело по сторонам невозмутимыми, мудрыми глазами и только вздрагивало. Я мысленно просил: «Не закрывай! Только не закрывай глаза!»

На синеющей коже малыша проступили крупные поры, лицо покрылось множеством тонких морщин, и движения замедлились. Сколько времени мы смотрели друг на друга, я сказать не могу. Наверное, очень долго...

Но настал момент, когда обречённый, обессилевший человек закрыл глаза и, склонив голову набок, заснул навсегда. От его последнего выдоха во льду образовалась прореха, и кокон, как проколотый воздушный шар, начал быстро сдуваться, накрывая собой коченеющее тельце. Всё вокруг превращалось в золу, и не было в этом мире больше ничего живого – только холодный ветер и чёрный дождь...

8.

Мне кажется, что я утратил счёт времени. Так тяжело считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды, дни, за которыми не поспевают мои старые земные часы и останавливаются на ходу прежде, чем Солнце взойдёт в зенит... Только сердце моё отмечает биением каждую частицу суток, и когда я спрашиваю его, который час, оно неизменно отвечает: что это час неутолимой тоски, а ежели я спрошу, сколько таких часов протекло, оно отвечает лишь: «Слишком много. Слишком много!»

Ежи Жулавский

Спустя многие годы, я вновь побывал в старом городском парке. Осеннее небо было на удивление безоблачным и синим, а в воздухе вопреки календарному закону почему-то пахло весной. Ясность и простота жизни ощущались в каждом деревце, в каждом камне и даже в высохшем пруду, над которым склонилась безжизненная сухая ива. Всюду царил тишина...

Через дорогу, что отделяет парк от жилых кварталов, стоит выставочный павильон; его фасад украшен диковинными восточными скульптурами, расставленными аккуратно между мраморными колоннами. Я никогда там не видел большого скопления людей, хотя выставки проводились нередко. И только из афиш можно было узнать о том, что в этом "заколоченном" мире иногда творятся чудеса.

Одно из самых необычных и ярких воспоминаний детства – мои вечерние прогулки между мраморными громадами, бережно охраняемыми неземными существами из гипса и глины... Существами, как тогда казалось, несущими весть об иных мирах. Я всерьёз думал, что они пришли из снов, самых загадочных снов, какие только могут присниться человеку. С замиранием сердца рассматривая их причудливые очертания, я осторожно касался рукой холодных иероглифов синеватого барельефа на отвесных стенах... Это был сон, воплотившийся в яви... Сейчас, трудно представить себе, что когда-то сны были волшебными, что сама жизнь воспринималась как тайна, и не было страха, боли и смерти...

А потом была юность... Парк был тогда переполнен людьми. Все культурные и гастрономические заведения сосредоточились вокруг этого памятного места; каждый день можно было встретить иностранного туриста с фотоаппаратом и походным рюкзаком. Студенчество, подхватившее меня своим лихим пьяным вихрем, стало свидетелем многих горьких и сладких часов, проведённых мной в старом парке. Отчаяние, смех и слёзы, дожди и снега запомнились, как самые глубокие и самые прекрасные раны в сердце.

По вечерам парк превращался в "панель", где мои так называемые товарищи высматривали себе незнакомку, громко выкрикивая скабрёзности ей вслед, а милиционеры снимали пьяных проституток и вели их в тёмные комнаты местных отделений... И я, странным образом оказавшийся в гуще события, только сильнее ощущал ту непреходящую чистоту, что обжигает грудь, молчит и терпит всё. Мои глаза искали призраков любви, тщетно всматриваясь в пустые лица вечных баловней судьбы, проходящих мимо. Это мой сад

воспоминаний, хранящий и первый поцелуй, и горькую бормотуху, и молодецкие вечерние грёзы.

И сегодня, на исходе последнего буднего дня этот парк, как и прежде, приветливо впустил меня в свои владения. Только теперь в нём безлюдно и пусто. Ярко окрашенные скамейки и заново выложенная плитка не в состоянии скрыть его запустение. Прожитые годы оставили свой солнечный гештальт на каждом деревце, на каждом камне... И потому, наверное, я не уделил внимание незначительным косметическим изменениям в облике моего старого и нынче невостребованного друга. Казалось, всё было только вчера... А то, что было день назад, я, оказывается, не могу вспомнить... Десятки и сотни таких безликих "вчера" отрывают огромные пласты жизни, унося с собой пустоту напрасно прожитых дней... Во мне не осталось ни боли, ни радости; в моих глазах, защищённых от солнца тёмными очками, отпечатался только чистый свет. Но не навернулась желанная слеза, не забило сердце.

Страшно и легко... Никого не осталось рядом, а заботливые друзья собираются положить меня в больницу ради моего блага, конечно же...

На первом приёме я рассказал доктору всё, как есть. Наверное, поступил непростительно глупо, крайне неосмотрительно. Помнится, профессор поглаживал свои чёрные, как смоль, усы и долго не решался ничего ответить, а я находил нечто хорошее в этой ситуации. Работы у меня нет, я не могу обеспечивать себя и платить за квартиру, а здесь будет хоть какое-то питание. Можно будет читать и слушать музыку в наушниках. Мне показали помещение и палату – в тот же день состоялось знакомство с будущим соседом, жизнелюбивым весельчаком, который, по его словам, ночью дрессировал тараканов. Он даже обещал показать, как это делается. Казалось, люди там все обычные, добрые... Больше всех хмурился и негодовал доктор, который, похоже, догадался, отчего мне так радостно, и несколько раз повторил, смущённо глядя куда-то в сторону, что надо поторопиться с обследованием и поставить диагноз как можно скорее. Бьюсь об заклад, он посчитал меня иждивенцем-симулянтом и очень не хотел тратить драгоценное время на моё разоблачение.

Это был день посещений, коридоры наполнились суетливыми родственниками больных, и санитары равнодушно глядя по сторонам, расхаживали вдоль стен. В здании было очень тепло, а за окнами большими хлопьями опадал первый в этом году снег. Я очень хотел, чтобы мне выделили койку возле оконца.

Перед тем, как отпустить меня домой, доктор сурово обратился ко мне:

- Ну зачем? Зачем Вам это нужно? Вы можете провести здесь всю жизнь. А ведь умеете – уверен, что умеете жить во внешнем мире успешно и, быть может, даже будете счастливым. По меньшей мере сможете успешно адаптироваться. Надо всего лишь перестать бояться, сделать последний рывок из прошлого и повзрослеть, наконец. Теперь это будет сделать намного труднее, чем десять лет назад, но это ещё возможно! Не хочу брать на себя грех загубленной жизни, подавая Вам медленный яд дальнейшего ухода от реальности вместе с пресными гренками и кислым яблочным компотом на завтрак. Подумайте.

Знаешь, мы всё мечтаем быть услышанными и понятыми и не догадываемся, как это страшно, когда твою душу кто-то понимает до такой степени, что начинает видеть тебя насквозь. Он может разрушить карточный домик твоего самообмана и силком выдавить тебя из убежища внутренней реальности. Здесь ведь тонкая штука: любой больной имеет право на осознанный выбор, и отказ от того, что люди считают нормальной жизнью, тоже

можно отнести к выбору. Профессор хорошо понимал это – потому и чувствовал себя, как мне казалось, неловко, беседуя со мной.

9.

*Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впрямь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.*

Иосиф Бродский

Однажды я проснулся в другом измерении, вспомнил своё имя и нашёл старый семейный альбом. На последней странице красовалась фотография молодой женщины, чем-то похожей на тебя. Это была невеста, которую я однажды уличил в измене – помню, она точно, как ты, стояла возле грязного окна многоэтажки и курила, глядя зло и потерянно на обагрённую малиновым закатом рожицу.

Ей было двадцать семь лет, и она носила моего ребёнка, не поставив меня в известность. После нашего расставания она сделала аборт и спустя три месяца покончила с собой. Я потом запил и заболел. После полугода реабилитации, моим лечащим врачом был назначен немец, доктор Вольфганг Траумгённер, который провёл со мной несколько сеансов гипноза. Но это не принесло никаких результатов, и вместо облегчения я стал всё чаще испытывать приступы беспричинной панической тревоги. Я был на грани самоубийства, и время работало против меня.

Тогда доктор предложил поучаствовать в его экспериментальной работе, где меня должны были погрузить в долговременный гипноз, напоминающий летаргический сон, и предоставить свободу блуждать в одиночку по лабиринтам бессознательного. Безусловно, это была очень опасная затея, но другого выхода мы не видели. Превратить меня в овощ, обколов сильными препаратами и заперев в больнице, или отпустить на верную смерть было бы хуже. Доктору не пришлось уговаривать меня, поскольку я сразу увидел в эксперименте две возможные пользы: для себя и для науки.

В состоянии гипноза мне давали команды принимать пищу и поддерживать форму физкультурными занятиями в специальном спортзале под наблюдением медперсонала. Раз в неделю на несколько часов с меня снимали гипнотические чары, и я рассказывал врачу всё, что видел во сне. А потом мне приказывали забыть о возвращении, снова вводили в транс и позволяли продолжать жить в той, непознанной, но уже знакомой псевдореальности. Таким образом, мне дали шанс прожить другую жизнь, чем-то похожую на ту, что была раньше, но свободную и совершенно фантастическую. Я должен был сам распутать клубок невзгод и вылечить себя, пережив их иначе, словно переписав сценарий жизни.

Но этого не случилось. Мне слишком понравилась новая действительность, и когда Траумгённер разбудил меня последний раз, я заявил, что хочу остаться во сне навсегда.

– Нет, - возмутился врач, - эксперимент не может длиться всю жизнь, мы и без того пошли на огромный риск! Нет! Только через мой труп!

Тогда я решил обмануть всех, сделался за деньги раковым больным, и обратился с просьбой скрасить мои последние дни пребыванием в мире грёз. Но даже видя мою липовую медицинскую карту со страшным диагнозом, Траумгённер не хотел соглашаться. Помню, он сидел в своём тусклом кабинете часа два, закрыв лицо руками, и молчал. Я тоже молчал и ждал...

Под вечер, утомлённый тяжёлыми мыслями хранитель моих снов забормотал что-то, и стало понятно – он почти готов принять моё безумное предложение. За возможность десять лет пребывать во сне пришлось продать дом и заплатить невыносимую сумму. Ещё я попросил не давать мне «команду забвения», чтобы можно было помнить о принятом решении.

- Не умеем, не можем, чёрт возьми, решать самые простые проблемы, - причитал доктор, и на лбу у него выступили крупные капли пота, - как быть? В прежние времена тебя бы отправили подальше рубить лес или строить плотины. Вот уж где лучше всего работает трудотерапия. Там бы ты быстро избавился от своей блажи. Но в наш век защиты прав человека нельзя никого заставлять. Никого нельзя определять в клинику без серьёзного на то основания. А твой диагноз? Как я могу его сформулировать вообще? Что это? Отрицание жизни? Это не диагноз, а философия, свойство природы, чёрт бы её побрал! Грош цена всем нашим познаниям, если мы одинаково бессильны как перед шизофренией, таки и перед причудами природы, обусловленные издержками воспитания! Мы ничего не знаем о душе! Хорошо, но как ты там собираешься... жить, осознавая, что вокруг тебя одни виртуальные макеты – не люди, а пустые оболочки? Не обольщайся, всемогущества Бога у тебя не будет даже там. Ведь ты ищешь зацепки за реальность и ответы на вопросы из этого мира, грезишь о несбывшемся, догоняешь время. Как ты там намерен избавляться от призраков? Не лучше ли прожить отведённое тебе время в мире людей и достойно встретить смерть? Ты же всё-таки мужчина! Или было бы лучше сразу убить себя? Вот я и договорился, чёрт! А как иначе?

С улыбкой облегчения я ответил, что воспринимать сон, как настоящую жизнь, мне не составит труда.

- Я естественным образом привыкну к нему, а в памяти останется только краткая заметка о прошлой жизни в каком-то другом мире, в другом теле, которые раньше были реальными. Это Вы, доктор, со временем станете для меня забытым сном. Пусть Ваш мир, в котором пустые оболочки людей наделены недюжинными амбициями и постоянно требуют друг от друга что-то, напоминает о себе лишь слабыми помехами на телефонных линиях, сигналами, которые никогда не получится разгадать. Ваш мир чудовищен, в нём таким, как я, места не найти – меня самого по сути нет. Я сам – оболочка кого-то больного и опустошённого, того, кто был человеком совсем недолго. Там же – в мире, придуманном Вами – мне всё родное, а в реальности и близкие стали чужими. Я не ем, не сплю ночами и думаю только о возвращении в свою тихую комнату. Пусть послания Вашей вселенной останутся в записи, в чёрном ящике рухнувшего самолёта, в руинах гуманистической идеи. Невозможность разгадать ваши страшные тайны защитит и вылечит меня! Неужели Вы откажетесь выполнить последнюю волю умирающего?

Потом наступила долгая пауза – это тишина сказала «да!», и этим же вечером контракт был подписан.

И вот, я снова здесь, дорогая, в моём родном, уютном уголке. Перед последним погружением в гипноз я выпил яд. Быть может, через пару часов Траумгённер обнаружит мой бездыханный труп, но это уже не имеет значения. Я живу в субъективном времени: там проходит час, а здесь десять или двадцать лет. И перед тем, как умереть, я успею прожить долгую, необыкновенную жизнь. С небывалым чувством успокоения я вновь перелистываю тетради со своими институтскими стихами, ворошу бумажный рой писем и старых газет моего каменного города.

Есть единственная и неизменная реальность, которую принято называть велением сердца. Она остаётся с нами всегда, куда бы ни завела судьба, с кем бы мы ни делили пищу и ложе. Она и только она делает нас людьми, тяжело страдающими от ностальгии в чужих краях. Именно она заставляет нас всегда искать лучший из миров.

Сразу после пробуждения в прежнем мире меня посетила страшная мысль о том, что всё было ложью. Ведь если тебя никогда не было, значит, мы никогда не встречались, не расставались, и всё, о чём я писал тебе раньше, было лишь неживым отражением чужой действительности.

Не смущайся, прочитав это письмо. И не думай, что ты всего лишь сон – ты реальнее всего, что было в моей жизни.

10.

*Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?*

*Какой неистовой
Сивиллы таинствами –
О чем шумите вы,
О чем беспмятствуете?*

*Что в вашем веянии?
Но знаю - лечите
Обиду Времени –
Прохладой Вечности.*

Марина Цветаева

Уходя навсегда из чужого дома, разорвав тягостные узы, я поначалу почувствовал тупую боль во всём теле, точно медведь, разбуженный весенним, холодным ветром, потягивающийся ватными, онемевшими лапами в сырой берлоге. Во рту был неприятный железный привкус, который может заглушить лишь сорокаградусная греющая горечь. По традиции я выбираю самое скромное кафе, сохранившее приметы ушедшей эпохи: грязные столики без скатертей и допотопные бокалы с толстыми стёклами. Через час мне будет дарована несказанная свобода чувствовать жизнь, как полновесную боль, поднять голову и руки к серому небу и смеяться, захлёбываясь слезами.

Тяжёлый воздух наполнен сигаретным дымом и запахом мясных блюд. За соседними столиками знакомые до боли персонажи, одни и те же разговоры и пьяный смех. Я готов

сидеть здесь часами и смотреть, как хмурится небо, как постоянно сменяют друг друга лица, в каждом из которых есть что-то живое – то, чего нет у меня.

Вот уже и ночь. Такси везёт меня домой самым долгим на свете маршрутом. Дождь припустил во всю, и молчаливый водитель не видит моих радостных слёз, сквозь которые видны огни пустеющего города – они сливаются в одно большое, больное, жёлтое пятно. Я мечтаю, чтобы время остановилось именно сейчас, и чтобы дорога, по которой я следую из небытия в небытие, никогда не закончилась, чтобы продолжался этот хмельной сумрак и спасительные слёзы боли...

Потребуется время на то, чтобы память о покинутом мире угасла во мне. Не знаю, сколько для этого придётся выпить алкоголя и скитаться по статическому миру, принимая новые формы и образы, рождаясь и умирая. Иногда становится страшно, когда я замечаю, что мир снов так похож на тот, настоящий: такие же люди, здания, разлуки, слёзы и мечты...

В детстве казалось, что нет ничего страшнее, чем остаться в собственном сне навсегда. А на деле это оказалось спасением. Быть может, нам выпадет шанс встретиться снова, на высоте прожитого опыта, в зрелости чувств, где уже не будет страха потери друг друга? Тогда, быть может, и время поэтов не покинет наше зазеркалье.

Осознав, что сплю, я почувствовал себя творцом. Подумалось: если душа человека бессмертна, и нам будет дана новая жизнь, то в этом непроявленном мире, в репетиции грядущего спектакля необходимо пройти важный урок – научиться быть частью природы и человечества, преодолеть страхи неизвестности, ненадёжности, отсутствия опоры, разрешить себе стать счастливым. Возможно ли это? Я смею надеяться, что это не последний наш экзамен, но шанс стать однажды живыми людьми. Об этом кричит тишина, шепчут стены и надгробья, поют флейты, ветры и солнечные искры в воде; об этом нам повествует смерть, спрятавшаяся в краске старых домов каменного города – и это самая важная мысль, потерянная в моей старой тетради со стихами. Запись, которую я не сделал.

Когда тоскливая, холодная ночь и одиночество придут в твой дом, не прогоняй их. Вслушайся в музыку пустоты.

13.10.2011

(Редакция 2018)